

# Анастасия Мейн-Цветаева

## Из книги о Горьком

### Цветаева Анастасия (Мейн А.)

#### Из книги о Горьком

*Екатерине Павловне Пешковой*

## Глава первая

Максим Горький. Это лицо знаешь с детства. Оно было — в тумане младенческих восприятий — неким первым впечатлением о какой-то новой и чудной — о которой шумели взрослые — жизни. Оно мне встает вместе с занавесом Художественного театра, с птицами Дикая утка и Чайка, две черненькие дешевые открытки, с которых глядят вот эти самые, вот эти глаза, светло, широко, молодо, дерзко под упрямым лбом с назад зачесанными волосами, над раздвоенным лукавым носом, над воротом косоворотки. Все это плюс широкополая шляпа (на другой открытке) или плюс высокие сапоги (когда поясной портрет вырос, уменьшив лицо и плечи, уместясь на все той же открытке, в портрет во весь рост). Где-то рядом — почти как плюс сапоги, как плюс шляпа — стоят в памяти лица Скитальца<sup>3</sup>, Андреева<sup>4</sup>, клочковатая борода Толстого, Ибсеновские очки.

Мне было лет пять. Жизнь, как в театре, раздвигала свои декорации, голоса споривших в кабинете отца сплетались с маминым Потонувшим Колоколом<sup>5</sup>, непонятно кричали: педель, сходка, нагайка, Лев Николаевич... Было поздно, мать гнала спать...

День. У осеннего окна я с внезапной ненавистью гляжу на городского, всегда шутившего с нами, детьми, толстяка, и в общей тоске со всем домом жду приезда отца (уехал хлопотать за репетитора брата, студента). По окну серебряно ползут струйки дождя. Вот на фоне этих тревожных серебряных струек стоит в моей памяти ширококостная и легкая [215] фигура юного Горького, непонятная и родная, за годы и годы до первой его прочтенной строки.

Только три десятилетия спустя жизнь судила мне увидеть Горького.

=====

Стройный, белый плоскокрыший дом. Три этажа. Террасы Сорренто далеко позади (вправо и вниз). Влево — поворот к шоссе, круто кидающийся в

графику стен и садов. Я не знаю, куда вело в эту сторону шоссе, — в моем восприятии оно здесь кончалось. Это было от поворота? Или оттого, что здесь заканчивался мой долгий путь? Здесь живет Горький. Не все ли равно, к каким итальянским селениям идет отсюда шоссе?

В маленьком отеле напротив белого дома я встретила гостящего у Горького одного из моих московских друзей. На мое нетерпение увидеть Горького он отвечал мне, что до часу его беспокоить нельзя, — он работает (с семи утра). В час звонок к обеду, — все соберутся к столу.

Я не успела еще помыться с дороги, как раздался звонок.

Вокруг большого стола рассаживались люди. На фоне прикрытого ставнями окна их лица были неразличимы. Но вот, отделясь от других, слева, шагая через узенькую полоску, точно через палочку солнца, к нам двинулся кто-то высокий, в светлом, знакомый по портретам и незнакомый потому, что выше страннее — иначе — хуже — моложе... Рукопожатие.

Сели за стол. Недоглотнув первого впечатления, изумленности о высокам росте, я уже переживала второе и третье. Это — как волны моря — не взять неводом. Но, беря палитру и кисть, условно и схематично, вот мое впечатление первого дня с Горьким:

— Так вот он какой... Сдержанный, почти сухой, почти суровый. В обращении — чинность, пристальная внимательность, деловая серьезность. Между вами и им — дистанция. Это устанавливается сразу, так просто и так повелительно, что невозможно вознегодовать. Безвкусным, легковесным и безответственным предстает вдруг всякое иное человеческое общение. Сусальным русским человеком с его пресловутой задушевностью мне через час показался тот Горький, которого я ждала.

Горький — строг. Этим много, действительно много о нем сказано. [216]

Темы первого разговора? Осмотренный мною по пути музей, что-то о Неаполе. О газетах. И больше, чем тема, — в глазах Горького ненависть — суд над Сакко и Ванцетти.6

=====

Так вот оно живое, это лицо, 30 лет спустя, в первый раз! Вне возраста — никакой старости! Широкоскулое и худое, в щеках провалы, волосы сбриты, серый пушок. Усы густые, вниз, рыжие. Глаза — синеватые. И мои глаза не верят, что это явь.

Не похож на свои портреты: бесконечное богатство мимики. Но каждый портрет что-то схватил, и перед глядящими, как в кинофильме, мелькает в волшебной смене то один, то другой портрет, — а, и еще этот? — гасимые текущей сменой вовсе новых, аппаратом невиданных лиц.

Он говорит, голос глуховатый, на о, на мой слух чуть невнятный в своих утиханиях, но когда близко, или привыкнешь, в негромких интонациях такая мощь тончайших смысловых переливов, как бывает разве что в музыке. Когда же их не хватает — рассказ переходит в жест. Кто напишет о его жестах? Я только отмечу в них невиданную мною — мне 35 лет — выразительность. Интеллектуализм? С их длинных, спокойных всплесков, с холодка неуловимых движений этого веющего смычка каплет горячий воск — печать на то волнение рассказа, которое нельзя передать. Это высокая марка волнения.

Лицо — голос — жест. С чего начать дальше? С того, что вокруг стола, где сидим, — люди, давно знающие Горького. Что мне неловко. Что мешают тарелки, ваза с фруктами, стены, окна с каким-то садом и жаркий равнодушный к моему приезду, — как завтра и как вчера, — день.

Большая комната с 3 окнами — дверями на балкон. Вид на далекое. Море с правым крылом гор и Сорренто с очень бледным треугольником Везувия. Каменный, светлый, мозаичный пол. От него ли, или от стольких дверей на воздух — впечатление холода и простора. Книжные полки. Никакого беспорядка. Никаких вещей, подчеркивающих индивидуальность хозяина. Серьезно, спокойно. За рабочим креслом большого стола (стопка остро очиненных карандашей), над полкой — небольшой портрет Пушкина. Две-три картины. В углу, за ширмой кровать. [217]

=====

Что он говорил? Что запомнилось из его слов о писателях? Неожиданности его облика поглотили всю силу внимания. В памяти — случайные отрывки. Их помещаю в виде примечания, извиняясь за хаотичность их: что Бабель<sup>7</sup> — очень серьезен. Конармия... Замечательный будет писатель! Что об Ольге Форш<sup>8</sup> — с похвалой (Современники, Одеты Камнем). Что высоко ставит Сергеева-Ценского.<sup>9</sup> Что не понять, как Борис Пастернак<sup>10</sup> так перевоплотился в 13-летнюю девочку (Детство Люверс). (— Моему пониманию это недоступно!)

Из бесчисленных вопросов моих к нему:

— Вы любите Блока?

— Нельзя ответить на это. Заинтересован был очень. Да. У него никогда нельзя было знать, что он сделает в следующую минуту. Я его и пьяным видал: тело пьяного человека, а слова, мысли, поступки — его обычные. Видал, как ухаживал за женщинами, видал на заседаниях. Стихи читал, как никто...

Еще о поэтах: Бориса Садовского<sup>11</sup> уже с 15 лет считал выдающимся талантом. Он и вправду талантлив. Помню его в мундирчике, тонким, тонким голосом читающим стихи, — как игрушечка. Его очень в семье баловали. Был

кумиром. Каждое желание исполнялось.

— Перед Вечерними Огнями Фета<sup>12</sup> — преклоняюсь. (И о любви Фета, 80 лет к 18-летней, смерть после объяснения с ней).

— Апухтин<sup>13</sup> — пустое место.

Что я помню еще? Что Чехова-человека любит. И писателя хвалит. (Из его вещей больше всего отмечает Степь.

— Это хорошо. Очень хорошо. Вы это посмотрите.)

Лескова<sup>14</sup> горячо читит.

Об Андрееве говорит с нежностью.

Резко не любит Владимира Соловьева<sup>15</sup>.

— Конечно, есть неплохие места. Но все не хорошо. Циник. О человеке сказать так: Родился кто-то, потом издох... О человеке! Неверие прикрывал перед самим собой благочестием. Способность похихикать надо всем, во что веришь. Переписка его со Шлейермахером<sup>16</sup> отвратительна. Как и отношение к Шмидт<sup>17</sup>.

=====

— Боткинские<sup>18</sup> письма из Испании не сравнимы ни с чем в литературе. Единственная книга, написанная русским о другой стране. Вообще мы писать об иностранном не умеем. (Ответ на мой вопрос, почему не пишет об Италии, ведь так ее знает. Написал несколько итальянских сказок — не вышли.)

=====

Заговорил о Слепцове<sup>19</sup> Казалось, радостно удивился, что я читала его. Его ведь так мало знают.

И беседа идет, идет, уже вечер. Помню его слова о том, что это вот понимал Лев Толстой: часы дня, психологично иные речи, иной тон, иные соотношения вещей в разные часы дня. Вечером — вечерний разговор, утром совершенно иная манера говорить у его героев.

— Удивительный мастер. Знал каждую запятую свою. Все учитывал.

— А он знал. Лев Толстой, что он — недобрый? Горький: — Знал. О себе говорил: Старый, глупый старик, злой старик.

Разговор перешел на Анну Каренину. Более безрадостной любви, более скучной, он не знает. — Ни разу при луне не прошлись. Ни одного ласкового слова друг другу не сказали, ни разу не поцеловались при читателе. Да, мы, русские, не умеем этих вещей писать. Это только романы умеют. У нас — не выходит.

— Вы бы могли. Напишите.

— Нет, я не умею. Русские не умеют. В каждой любви без переписки

обойтись не могут, философствуют же, нельзя же. В том же доме, но хоть одно письмо!

О Гоголе, о конце Гоголя:

— Это мне совсем непонятно. Просто не понимаю, чуждо. Для меня никакого греха в творчестве нет.

— Алексей Максимович, кого вы больше любите, Андрия или Остапа?

— В молодости Андрия, конечно, ну, а теперь — Остапа. Все-таки будет посодержательнее: Батько, слышишь ли... — Это, знаете ли... [219]

Записки сумасшедшего Гоголя не ценит: нарочито, слабо. И что Гоголь не знал России, не был в Великороссии, и фамилия у него не русская.

Иностраннных авторов знает, как русских.

О Гете не говорит горячо. Считает, что Ломоносов ничем не меньше, а как ученый — больше. Пушкин — больше Гете.<sup>20</sup>

Анатоля Франса<sup>21</sup> очень любит. Переписывался с ним и видался. Настойчиво его хвалит. Не любит баллады о Редингской тюрьме<sup>22</sup> Хвалит Йеста Берлинга Лагерлеф.<sup>23</sup> Помню еще: Бернад Шюу<sup>24</sup> — ядовитый старик, но любезный. Явился на званый вечер, где все были во фраках, в каком-то эдаком пиджаке невозможного какого-то цвета, табачного, все у него висит, вот эдак... И в скрипучих огромных башмаках.

— А как Вы были одеты, позвольте узнать? С улыбкой:

— Такая куртка была... (И рассказ о сюртуке, который висит в Берлине, в шкафу у друзей.) Очень даже приличным человеком выглядел в сюртуке.

О приходивших к нему американских писателях, вежливо с ним говоривших и высказывавших мнение, что русских надо связать веревками:

— А веревок у вас хватит?

=====

Собственные книги его лежат небольшими стопочками на нижней полке, на самой нижней, у пола. Когда метут пыль, — то на них. Это не поза, недоброжелатели, — т.е. ни тени позы! Просто для него естественно: тут Толстой, там — Стендаль, здесь — Пушкин. А Горький как-то лег там, внизу.

Раздает эти стопочки, и только один полный комплект, 17 томов, удалось от него спасти, — он внизу, у невестки.

Из всех своих вещей больше всего любит Рождение человека.

Мы вышли на балкон. На соседнем балконе (высоко над садом) купали Марфу в нагретой на солнце воде и она отчаянно плакала, — не любит теплой воды. Увидав деда, закричала сквозь слезы: Дедука... Он тут же прошел к ней, сел у ванны на корточки и стал ее уговаривать: Да, обижают нас. Очень нас обижают... И не отходил до конца процедуры.

===== [220]

Мы до вечера не уходили к себе. Лиловое небо, медленно тая, тускнея, темнея, опрокинулось черным шаром. От сада было видно лишь сухое деревцо в луче окна. Мы вышли в этот исчезнувший сад.

Море, весь день стоявшее синей чертой, — полосой широкой, вон там. Оно растаяло в этой огромной ночи, как снежок в горячей руке. В ней же, в этой бездонной ладони, скрылись — сгорели? — горы. О селениях, шумных и тесных, стихших, кротко повествуют огни. Мы шли вслед за Горьким по невидимой тропинке. Он рассказывал о Капри. Сзади, из светлых провалов дверей и окон, неслась струнная музыка. Неужели — еще вчера? — я не знала этого голоса? Глуховатого, тихого... Сквозь голос, ночь и огни — горькая настороженность слуха, ловящего звук его кашля.

## Глава вторая

Кисейный полог от москитов, мозаичный пол с букетами роз, горячая лестничка узких солнечных лучиков сквозь жалюзи, первое утро в Сорренто.

Не настоящие — и потому милей — фоксы провожают меня вверх по лестнице в полутемную комнату, где уже все отпили кофе. Гигантские мячи апельсинов и персики с хорошее антоновское яблоко, сухой поджаренный итальянский хлеб. Виноград с кусочками льда. Я одна.

Это — неповторимый час. В гладкой, как зеркало, неизвестности — а уж некие лучи отразились — лежит передо мной предстоящая жизнь в Сорренто. В окно, полузакрытое ставней, виден кусок выжженного мелового сада, слышен детский голос. Это — Марфа? Дверь отворилась, вошел Горький. В стакане нес скорпиона. Поймал его на своей постели. Взял руками: Только осторожно брать надо. Опасен укус в апреле. Как опасна всякая тварь, когда она занята любовью.

Постоял на пороге.

— Почта еще не пришла?

За обедом мой друг тревожно и долго сетовал, что у Горького в постели скорпионы. Нечего сказать — хорошо! Как живет и работает Максим Горький.

===== [221]

Дом высоко над морем, минут 7 по крутым тропинкам. Горький работает по 10 часов в сутки. У Горького сын, невестка и внучка. Горькому нельзя льду и постоянно его кладет кусочками в воду. Очень жарко. Днем — темные решеточки жалюзи. По каменным мозаичным полам — маленький звук маленьких лап собачьих — два фокса (не чистокровных, с простонародинкой).

Встречи за столом — в час (утренний кофе без Горького, он пьет раньше всех, один), в 4, в 8. Сзывает — через выжженную дорогу — звонок. (Живем, его гости, в маленьком доме напротив. Название дома Минерва.)

Сидит в голубой рубашке с расстегнутым отложным воротом, — старик? Моложе своего сына! Густая шерстка волос, худой, легкий — еще ничего не говорит особенного, но так, голову набок, глянул... и человек уж принадлежит ему!

— Тимоша,<sup>25</sup> да побойтесь вы бога! Какие же курицы, ну какие же, на милость, курицы! Да зачем я их буду есть? Да я до смерти их боюсь, ваших куриц! Как увижу — так у меня ноги дрожат! Ну и что ж, что один суп! И превосходно, что один! Живу же? Мало! Что, мало живу? Бросьте, Тимоша, это вы, черт ее побери, что говорите!

И руки — так, только в плечах где-то двинулись... лицо — ходуном... балуется человек! И все вокруг — расцветает.

=====

Вот вы, Тимоша, не знаете этого ничего, а говорите... Ну, как же это может быть, чтобы она была мулатка? Негритянка она. Самая настоящая негританка! Черная, понимаете ли? Черная. А пела-то как! Ах, черт ее побери... Пускай могила меня накажет... Как она это пела!.. Таким, знаете ли, эдаким голосом...

Дочери своего приемного сына:<sup>26</sup>

— Вот, Лиза, про меня даже во всех газетах пишут, а ты меня в бок пальцем пихаешь.

Смеется добро, почти как старик, о Джулии, забывшей ему — а всем подала — подать винограда:

— Очень строгая женщина Джулия... И упоенно мотая головой:

— Не хочет она мне винограду дать, ну, не хочет...

— Нынче Марфа Максимовна очень были милостивы. Сами ручку дали. И еще издали кричали де`дука. [222]

У Марфы бонна. И Марфа начинает лепетать по-немецки. Сердится. Дед ей через стол:

— Не злись, немка!

=====

Не сводишь глаз. Выразительность жеста — необычайная. Много рассказывает о прошлом.

Попытаюсь восстановить несколько из этих рассказов. О том, как поступил в оперу хористом. Там же был и Амфитеатров (пел главные партии).

— А у меня второй тенор. Пел я чертей и индейцев в опере Христофор

Колумб. Начитался я Купера<sup>27</sup> и Майн-Рида<sup>28</sup> и очень хотел все по-индейски делать. Умел и ногу особенно ставить и шел — ну, настоящий индеец! А режиссер говорит: Ну какой ты, Пешков, индеец! Ты посто, брат, верблюды!.. Так до спектакля и не допустили — только до репетиции.

Толстовец-англичанин пригласил его к себе.

— Богатое эдакое, невероятное какое-то здание. В дверях — человек, и у человека — булава. Человек похож на попугая: желтый, зеленый...

Неимоверное богатство, принятое им за богатство гостиницы, собственность толстовца. Столовая (в рассказе блеснула тарелка сервиза, блик на тонущей в высотах стене тронул волшебным жестом не то скатерть, не то хрусталь) — и понял я, что это — да, это настоящее место и есть...

Сели. И начался обед — не обед, а какое-то упражнение... Чорт его знает, собственно, в чем... Блюдо за блюдом... (Описал).

— Ну, потом я рассердился: ну, что в самом деле? Ежели так — так при чем тут толстовство? Ежели так — так уж бросайте все это к чертям! Ну, и выразил это ему.

— Ну, а он что?

— А ему что? Выслушал!

— Ну, а что-нибудь сказал?

— Чудной вы человек. Да что ему говорить? Говорить-то здесь нечего. Ну, что бы он стал говорить? Ну, потом встречались мы с ним, но уж в холодном таком виде...

=====

О нижегородском губернаторе, однажды севшем рядом с ним на обрыве над Волгой и изложившем ему свой проект устройства государства. Каждому великому князю по губернии [223] — автономное управление. И губернии будут в порядке, и великие князья заняты. Этот же (?) губернатор, приехав в другой город, узнал, что существует городская дума и что он должен открывать ее заседания. Идея думы не вместились в него, монархиста. Но дума была факт, распоряжение монарха, губернатор должен был повиноваться: он вошел солдатским шагом в собрание, сказал: Объявляю такое-то заседание городской думы открытым. Затем повернулся и... тем же шагом вон из помещения.

Рассказ (один из многих, полуугасших в памяти за первые дни бесед) о дьяконе, силища голоса которого (октава) тушила свечи на большом расстоянии. Рожа такая, точно по ней лошади топтались. Вот такого вот роста, маленький, квадратный... Страшно смотреть...

=====



Инженер, пошедший пройтись, сказав жене, что вернется к завтраку, на улице увидал женщину необыкновенной красоты. За ней. Роман. Она — жена какого-то посла. Едет в Константинополь, еще куда-то. Он с ней. Турецкая тюрьма. Бегство. Погоня. Морское приключение со стрельбой и, наконец, является к жене. К завтраку. Девятнадцать месяцев спустя: Ну, вот и я.

Девушка тринадцати лет, история с отчимом, дикое по фантастике бегство. Событие одно за другим, жизнь в роскоши, отечески ее полюбившего человека, его смерть, ее продают в рабство, в гарем. Еще и еще... Японская война, она — сестра милосердия. Кончается ее след непонятным возложением ею венка на могилу писателей на Волковом кладбище.

=====

Рассказал, как он прыгнул, купаясь, с моста, ударился обо что-то под водой и, теряя кровь, пошел ко дну. Его спас ямщик, проезжавший по мосту.

=====

О пожаре, начавшемся утром: оставил папиросу, горящую: Побежал, понимаете ли, на кур глядеть, — куры очень орали... Вернулся, на столе пожар, сгорел только что написанный лист Самгина. [224]

...Мне было лет шесть тогда. Я был еще маленький... (поджигал забор с мальчишками и бежал, — за нами гнались). Страсть к огню. Кто-то упрекал его в огнепоклонничестве.

=====

— Били меня не раз и очень много. И я был хороший боец. Теперь уж можно об этом сказать. Хоть и силен был, но брал ловкостью.

=====

Об Америке.

Подъезжая к Нью-Йорку — совершенно сказочное впечатление: весь город, все очертания его невероятных домов — в электрических, фантастически придуманных рекламах. Например, труба сплошь обведена рядами электрических ламп, — горящая труба. Горящий город.

Это у них — замечательно.

Об Американской прессе: заметка в газете о том, что сенатор такой-то разводится со своей женой. Его опровержение. Опровержение опровержения, как же, у него взрослые сыновья, и они ненавидят мачеху (она в это время в отъезде). Ее на вокзале встречают репортеры и спрашивают, плоха ли ее семейная жизнь. Она замахивается зонтиком на дерзкого незнакомца. В это

время щелкает аппарат — снимок в газету:

характер мачехи. Сыновья идут в редакцию, не в силах больше терпеть эту историю, и колотят виновников. Их снимают, снимок в газету: характер сыновей сенатора. Сенатор бросает деятельность, сыновья — университет, уезжают в другой город.

Проституции нет, а есть — публичные дома. Публичных домов нет, есть полицейские, которые, увидя по лицу, что с человеком неладно, направляют: за угол, третий дом. Был разоблачен квартал — 9 публичных домов, принадлежащих известной филантропке. В прессе — скандал. На другой день — опровержение. Дома были сданы ловким жуликам, которые провели филантропку, а полицейские никогда не служили в полиции, а — шайка переодетых мошенников.

— Где же правда? — спросил мой друг.

— Там где деньги. Как всегда.

Лицемерие: статуя на доме, голый мужчина. Негодование. И в прессе слова: Ни одна уважающая себя женщина не будет, конечно, ходить по этой улице. Не ходит ни одна женщина. А на неприлично разрисованную каким-то смельчаком, [225] влезшим на высоту, рекламу женщины в прозрачном одеянии все смотрят, ничего.

О музее: уроды, живые. Три с лишним аршина, карлики, женщина с шестью грудями и т. д. За доллар можно увидеть, что хотите: Венецию хотите? Пожалуйте, Венеция. Едете в гондоле мимо дворцов. Пьяцетта, собор святого Марка. Хотите в ад, может быть? Пожалуйста. Спускаетесь по головокружительному пути в жаркие красные недра. Котлы с кипящими живыми людьми. (Подкрашенная вода) Кипит от каких-то химических соединений, но трогать не позволяют. Другие подвешены за ноги и пр. Дьявол с зелеными глазами, с хвостом и крыльями смотрит на вас ледяным взглядом.

Рай? Пожалуйста. Полет туда на птице. Ангел курит сигару. Петр с ключами; вдали проходят святые, еще далее — сияние, перед которым ангелы преклоняют (и вы тоже) колена.

— Все это грубовато. У нас бы лучше сделали. Хотите всемирный потоп посмотреть? Пожалуйста. Сцена, древние евреи, дождь, дождь все больше, вода прибывает все выше, уж выше скал... Матери спасают за ноги детей, крики, мучения, вода прибывает... все тонут. Вода волнами идет на зрителя, но слетает совсем близко от него в особое углубление.

=====

Еще об Америке. О квартале китайцев (самый страшный, туда без охраны нельзя, — они, впрочем, пошли вчетвером без охраны). Полицейские стоят по

двое — спина к спине. Китайцы почти не отвечают на вопросы. Страшные люди. Ведь они лишены своих китаянок, запрет размножения, дико развит гомосексуализм и наркозы. Наружность и держимость их жуткая. Но работают превосходно, несмотря на ненормальную жизнь: прачечная, производство коробок и пр. Самый веселый, это — негритянский квартал. Свои театры. Необычайно оживленные, страшно смешные и милые дети. Всегда музыка.

— Играют на виолончелях, играют на скрипках, играют на (название какого-то инструмента)... вообще играют!..

Они преподают в школах белым детям, но в трамвае не имеют права сесть к белым, особенные вагоны. По железным дорогам то же: для цветных, как для скота. За связь черного с белой его судили за кровосмешение.

После разговора о детях: [226]

— Дети — существа замечательные. Как фальшь превосходно чувствуют... Они обладают неким шестым чувством. Правда, обладают до тех пор, пока не превратятся во взрослых людей.

— Я, когда Максим лет 14-15 жил у меня на Капри, слушал с интересом его рассказы. Как это у него, чорт его побери, складно выходило. С большим интересом слушал.

Стоим на балконе, над выжженным, точно пустыня, садиком. Под нами несколько агав, какое-то одно драгоценное дерево с мне неизвестным названием. Вправо от нас плеснут голубоватый туман моря, за ним — еле зримые очертания Везувия; сонным белесым облаком. Сзади нас стучат ложками, подают в комнате чай.

— О детях писать трудно. Очень трудно.

## Глава третья

Капри? Его описывали столько раз, сколько его омывают волны. Забыв спросить у Горького, где он жил на Капри, я все время от парохода до парохода вместе с встретившейся мне русской служащей берлинского торгпредства отыскивала, спрашивая у всех — *la casa dove viveste il grande scrittore Massimo Gorki*.\*

Этих каз оказалось так много, что мы, должно быть, заодно осмотрели дома, где жили и Андреев и Куприн,<sup>29</sup> все жившие на Капри скриттури.<sup>30</sup> Понимая безнадежность разобраться во множестве предлагаемых нам домов, мы сидели в чьем-то чужом саду, ели апельсины и смеялись над своей неудачей. Мы убеждали себя, что эта уж наверное настоящая каза. Итальянцы смотрели на нас неодобрительно. На горе величавым упреком стоял замок императора Тиберия<sup>31</sup>, который мы не пошли смотреть.

=====

Я здесь уже 16 дней, отъезд надвигается.

В день Марфиного двухлетия пришел Пульчинелле со своим домиком на колесах. В сад высыпали дети соседей, Марфа была такая беленькая среди них. Взрослые говорили о том, что это искусство уже умирает, вспоминали русского Петрушку. В самый патетический момент глаза всех устремились [227] на Марфу: она медленно, осторожно, с совершенной решимостью, отделяясь от всех, шла вперед. Крик пугал ее, но любопытство брало верх. Она чинно дошла до самого места действия в серьезно, испытующе, с видом исследователя заглянула за угол домика. Она хотела знать, что там.

Этот ее маленький поход в неизведанность, несходство с другими детьми, которые просто смеялись, с детьми, которые тянули руки и чего-то туманно требовали у старших, — какого-то еще более полного пользования красотой, четкость замысла и самостоятельность выполнения явственно напомнили деда.

Это шел маленький Горький.

Поздно вечером я еще раз увидела Пульчинелле: уже успев обойти ближние сады, полуслепой старик со своим легким сооружением стоял перед отлогой лестницей Минервы. Прямо на лестнице сидели зрители; по сторонам мечущихся в воздухе кукол полыхали невиданные мною фосфорические свечи, и картавые, классически крикливые голоса кукол пафосом ролей покрывали окрестность. Они стригли ночь острыми световыми ножницами на черные длинные треугольники.

=====

В Сорренто гостил молодой англичанин, писатель. Вечером Горький говорил с ним через переводчика. Спрашивал о жизни в Англии, об отношении к России. О роли женщины у них. Говорил с симпатией о матриархате. До сих пор мужчины делали историю, и плохо выходило. Сколько войн! Надо дать женщинам возможность делать историю.

=====

Говоря о своем необычайном довольно-таки пути к культуре:

— Я этим не хвастаю, не хвастает же человек тем, как его били...

Никогда не видела его удивленным. Слыша цифру раздавленных в Америке автомобилями, — столько-то сот тысяч, кажется, — повел усами:

— Немного.

И утомленный, сухой, от себя (?) самозащищающийся глазок из-под брови. Горд. [228]

Когда я прочла ему свое (вещь, по существу, не могшую ему не

понравиться и — в меру, конечно, потому что все в опыте жизни в меру — не взволновать), я закрыла тетрадь с этим терпким, стесняющимся и просящим пощады словечком все (сердце колотилось, в висках стучало), — он начал мне свой ответ так:

— Д-да... тут в одном месте у вас не поставлен союз. (Потом он сказал вещи дружественные, похвальные, неповторимые по тонкости внимания, но начать он позволил себе, т.е. вменил в обязанность, именно так.)

=====

Суховатость к рисунку брошенных перед ним карт. Все кроет козырем. Нет, несколько не сентиментален, как о нем говорил кто-то. Рассказ о том, что он будто бы заплакал, публично читая вслух Страсти-Мордасти, — ложь.

Через неделю отъезд. И хочется набросать несколько наблюдений.

Очень редко смеется. Улыбается часто. Улыбка — обаятельная, молодая. А смех — добрый, нежный, стариковский.

Постоянные слова: полагаю, сделайте ваше одолжение, пожалуйста. (Да сколько угодно, пожалуйста! Да какие хотите, пожалуйста! Почему нет? Да, пожалуйста!)

И от глухого голоса выходит пуж-а-ал...

Часто: во-от... Горячим улыбнувшимся шепотом: замечате-а-льно... (слышно, как меч-а-...) Это не слова. Это горячий ветер у губ. И прикроет на миг веки.

Говорит не умер, а помер. О не грубо, не настойчиво, а — гулкостью голоса.

Кажный, Бе`рлин, с людьми, озорни`чает.

=====

Вечером в рассказе о ком-то:

— Женщина дикой красоты.

— Да, эта женщина предсказала мне, что буду сидеть в тюрьмах. Пять раз сидел. И что человека убью. Не убивал я еще никого. Не поспел.

=====

Играя в убежание от Марфиной игрушечной кошки, прячется: [229]

— Кошками меня затравили...

А Марфа требовала, чтобы Де`дука — sitzen\*\* и снова травил его.

=====

Не любит сладкого.

Каждый день за обедом радостно отказывается от какого-нибудь блюда:

— Нет, Тимоша: не удастся вам меня покормить... (Страшно мил, кристально чист в обиходе, в сношениях с окружающими.)

Выходит на минутку во время занятий днем из кабинета (кстати, сказала ли я, что его кабинет — одновременно и его спальня).

— Чорт их побери, этих мух! Жить невозможно. Палкой их надо бить по голове.

Постоянно жжет спички в пепельнице. Не раз — пожары в корзинке для бумаг.

Горький — нумизмат. Но коллекцию (это, кажется, невозможно для нумизмата) раздарил.

Утомляется с людьми. И, побыв один два-три часа, вновь радуется, встречаясь.

=====

Во время пения вечером у молодого населения дома внизу, в большой комнате, окнами и дверями в сад, слушал музыку и стариковски улыбался, тонко, с былой удалью, с уже отступающим чем-то... Склонив голову...

=====

Вечер. Сад. Ужасно темное небо, еле различимы корявые стволы деревьев. В чью-то честь жжем костер. Молодежь принесла стал с вином. Ворох папиросных и спичечных коробок, на них — хворост. На хворост — изношенный костюм моего друга. Смех. Горький мешает костер.

У его сына на стене картинка одного из Бенуа: костер, и Горький его мешает. Мы сейчас словно провалились в эту картину.

— Что вы больше любите, огонь или воду? [230]

— Ого`нь. Я ого`нь очень люблю.

Согласился, что вода во всех ее видах, и тихая, и бурная, жутка.

Сын и невестка заботливо уговаривали его не стоять близко к огню, ветер свеж, простудится. Шутил. Не слушал.

— Алексей Максимович, — спросил мой друг, — вы когда-нибудь думали да, конечно, — о том, что двум любящим всегда хочется умереть? Помните, у Тютчева есть...

Помолчал. И с оттенком недружелюбия в голосе:

— Ну, не знаю. Не знаю этого.

Я скатала из всех серебряных бумажек, составляющих внутреннее дно папиросных коробок, большой сияющий шар. Горький с улыбкой мне подал раза два: Вот еще бумажка.

Я подбрасывала в руках этот тяжелый мячик, по нему полыхал свет огня, думала:

— Этот мячик останется мой. Вечер пролетит, все пройдет. Это будет залог, что было.

## Глава четвертая

Завтра отъезд. Мой отпуск кончается. Днем, среди сборов, прочла Страсти-Мордасти. Вещь грозная в своей голой чистоте, в своей ужасности, очень тихой. Был какой-то особенный вечер. Все ушли, молодежь вниз, мы втроем — и он стал рассказывать. О чем? Разве скажешь? Вечер с ним — это жизнь.

— Хороший человек, между прочим... очень хороший человек... — (о ком-то) и покачал сверху вниз, еле-еле, углубленно в себя — или в эту чью-то хорошость — головой. А пальцы мнут папиросу. Зажег спичку — и рассказ дальше, до следующего случая, когда прорвет в счастье, что:

— Черт его побери, понимаете ли, черт его знает, как хорошо...

И широкий, сдающийся на невозможность выразить — всплеск длинных рук.

=====

Но я сегодня в тумане. Страсти-Мордасти. Мне кажется, а может быть, оно так и есть, в литературе нет вещи более сильной: в ней все концы и начала. Мне душно сегодня весь день. [231]

Сквозь условности часа — столовая, Сорренто, Горькому шестьдесят лет в каждом его слове, в каждом жесте и в немыслимости завтрашнего отъезда мне повелительно стоит над миром пьяный горем день, когда Горький вышел во двор из подвала, простясь с больным мальчиком.

Упрямо, самозабвенно, мне это кажется последним и наибольшим.

А Горький, точно зная, что со мной, спокойно и щедро — жестоко? — кроет козырем и эту карту. Он ведь знает эту нелепую жажду, все бросив, остаться в том подвале, — не этой ли жаждой был пьян его уход из него? Он знает нищету подобного разрешения вопроса. Он знает, что этот вопрос так нельзя разрешать. Ненавистник теории и споров об отвлеченном, он продолжает сказывать жизнь, и волна за волной, жизнь, как волна песок (драгоценна каждая песчинка), плещет в вечер судьбу за судьбой. Неповторимо, незаменимо, незабываемо ничто. И именно потому в том подвале нельзя остаться, — силы человека таинственны и огромны, человек — людям нужен, жизнь богаче себя самой. Не жалостью, не лирическим взрывом единичного героизма лечится эта рана. Он презирает кустарничество,

самозванство. Он всю свою жизнь борется с этим клубком в горле, со слезной волной в час волнения. Она готова затопить мир, но существо ее — эмоционально, как дрожь при звуках оркестра. Омывая в легковесных водах понимание, эта волна одновременно служит человеку и спасательным от волны кругом, не дающим ему окунуться в настоящую глубину.

Страсти-Мордасти? Да, это рассказ не плохой. Женщина, рожавшая в степи. Рождение человека? Да, был такой день. Помнит, еще был день: у молодого мужика, приехавшего на ярмарку и наторговавшего денег на свое молодое хозяйство, свинья съела бумажник. Мужик пошел под навес и удавился. Жена бросилась к нему, в это время свинья съела грудного ребенка. Он, Горький, въезжал на телеге в город. Он видел, как навстречу ему бежит женщина, — она так бежала, точно не по земле, и лица у нее не было, а так что-то (он показал какое-то круговое движение вместо лица), она пронеслась мимо него, вбежала на стоявшую у берега баржу и — с другого конца — в воду.

Он рассказывает о дефективных детях, над которыми работал в Ленинграде: помнит он девочку исключительной [232] талантливости, красоты и изящества очаровательная девочка. Воровка.

Подробно, все перипетии ее жизни, — как бились с ней, как ее тянуло к воровству; ловкость — необычайная; сцена в трамвае, где она, якобы в благодарность за заботы о ней, выдала шайку карманных воров, а на самом деле поиздевалась, приведя с полицейским агентом совершенно невинных людей. Освободила из тюрьмы друга-подростка.

Мальчик — слесарь гениальных способностей. Замков — не существовало. Из трех головных шпилек делал модель замка, которую никто не мог открыть. Совершенно холодное существо. К людям — презрение. Никогда не работал при ком-нибудь. Вежливо прекращал работу и поддерживал разговор, ожидая ухода. Из так называемой хорошей семьи. Вор.

На мой вопрос, можно ли любить таких?

— Можно.

— Жалостью?

— Нет, очень сильным влечением, в котором совсем нет места жалости. Я так скучал по этим вот двум, когда день не увижу, — как-то неловко делается, что их нет...

И вдруг мне становится ясно: Горький — вечный жид. Есть картина, кажется, Марка Шагала<sup>32</sup>, как шагает над силуэтом маленького осеннего нищего города гигантский силуэт старика. Каждый шаг — через гряды домов. Волосы — в тучах. Посох.

И я слушаю с новой страстью внимания.

Об итальянцах, о разнообразных, странных их свойствах, о сдержанности в



гневе: будет стоять, побелев, со сжатыми кулаками, — не ударит (когда бы у нас, — уж давно драка), о неаполитанцах, безумно любящих удовольствия (небывалые ежегодные суммы на иллюминации). Что жулики, но, обжулив, в тот же день вам окажут услугу. Прирожденные актеры. Дар. У шестилетней девочки врожденные манеры актрисы.

Мой друг сказал свое впечатление о Неаполе: совершенно сумасшедший город. Даже нельзя понять: музыка из каждого окна, какие-то рояли на колесах на улицах. Тут же пляшут...

— Да. Это — вечером, — сказал Горький, — утром Неаполь спит.

=====  
[233]

Рассказ о большом актере, с которого ни в магазинах, ни в ресторанах итальянцы не хотели брать денег.

— Мимика! Мимика...

Сказал это потрясенно и тихо, недоуменно развел руками.

— А я театр не люблю... — сказала я.

— Да и я не люблю, собственно. И пьесы я писал плохие. Дно? Интересно только содержание. А рока — нет. (Стержня, действия). Да, я не поклонник театра. Но я видел таких актеров — невозможно рассказать это. Из-за них не могу отрицать театр. Видимо, есть люди, которым роль — толчок к перевоплощению. Дузэ, — разве о ней рассказать можно? О других можно говорить, о ней — нельзя. В Италии трупп — нет: актер. Лучшие театры — в Неаполе.

И с глубоким восхищением об актере Андрееве-Бурлаке<sup>33</sup>. О том, как он читал гоголевского Сумасшедшего. Он безумен, да. Но откуда-то на себя смотрит. И это жутко.

— Я бы сказал афоризм: надо быть очень талантливым человеком, чтобы не быть актером.

...Ночь после игры Стрельской<sup>34</sup> (ему было 17 лет). Вышел из театра и до утра — а дело зимнее — просидел у фонаря на тумбе, не заметя, как прошла ночь. Об актере, некрасивом и странном, очень тогда известном. Сцена, как мимо него проезжает с другим его возлюбленной. Никаких жестов. Он глядит ей вслед. Абсолютное молчание, непередаваемая игра лица. Роняет изо рта папиросу и вдруг тихо начинает петь. С ним боялись играть; в такую минуту следующий шаг был — убить первого попавшегося. Перевоплощался в роль.

=====

О том, как итальянцы молятся в церкви.

— Он с ней говорит, с мадонной. Говорит, понимаете ли!

Показал, как бьют себя в грудь, как глядят вверх, исступленно. Развел руками, как перед непостижимым.

Вечер идет. Плывут воспоминания.

О человеке в тюрьме, который каждый день в предзакатный час, который он долго ждал, когда стена против его окна, тоже тюремная, наконец освещалась солнцем, делал руками тени. Целая жизнь теней. Их смывал вечер.

...О скале на острове, где похоронен Григ. Об исландских сказках, мрачных. Об арфе с голосом. О гусях и плясках мордовских...

— Я — сорок лет как бросил пляску. [234]

Любит Бетховена, Моцарта, Грига. Музыка очень любит. Эта его любовь к музыке стоит возле него всегда, точно вторая тень. Из инструментов виолончель.

— Струнный звук, конечно. Но... не щипком, а...

— Смычком. Ну, конечно.

И поняла: он — бытийной струи. Чистой, движущей, радующейся!

Мой друг сравнил его с Рафаэлем. Толстой — Леонардо, Достоевский Микеланджело. Смеялся, слушая. Сильно кашлял. Тревожились.

— Нет, это пустое. Перекурил.

— Да, я много видел так называемого зла.

— Но я в каждом человеке знаю так называемое добро, и я верю, что оно победит. Люди не умеют жить. Не умеют, понимаете ли... Но когда-нибудь они научатся. Залогом этому то, что они учатся. Когда я каждый день просматриваю русские газеты, мне это совершенно ясно.

— ...В Ленине было — детское. Подойдет к елке, голову подымет — и улыбается. А на елке, понимаете ли, сойка сидит...

Выразил удивление, что мой друг мало знает птиц.

Спросил, докуда он прочел Самгина — до сома ли? Там — сома ловят... (с виноватой, упоенной улыбкой, мгновенно и круто умиляясь и, как всегда в этот миг, став застенчивым).

Я сказала ему, что, наверное, он никогда не охотился и что, как это верно, что Лев Толстой был охотником, а он — нет.

Он скромно и тепло отвечал, что вот да, странно, действительно, никогда не любил охоты.

— Ведь жалко же их убивать, чорт возьми, зверей этих! Ведь, например, медведь! (Показал, как медведи сосут водку из бутылки, обняв лапами; как ходят, какие милые, — никогда на человека не нападают, если не тронуть, какие мохнатые...)

— Ведь медведь, он удивительно милый человек! О самке дельфина, у которой убили детеныша. Она подплывала к берегу, где он был убит. Она

плакала; слезы, как у человека. Невозможно было глядеть на ее морду.

Подчас, когда слушаю, смотрю на него, загипнотизированно слежу жесты... и вот так расскажет что-нибудь до конца! — мне хочется сказать ему, чтоб он не говорил сейчас другого, — нельзя, не надо! — солнце, остановись! [235]

А он уж ласкает собаку. Собака прыгает к нему на колени.

— Да вы что, маленький, что ли? Вы собака старая, зеленая...

Собака прижала голову к его груди. Он кормит ее сахаром.

— Вы бы пошли, прогулялись... Собака не шла.

— А еноты — вот чудно: еноты сидят на деревьях, скатаются шариком, лапами морду закроют... (неуловимым движением скатался весь, показав, как) и висит на ветке эдакий шар, — не то растение, не то цветок какой-то...

Утра в Сивашской степи; прячась за камнем, смотрим, как суслики просыпаются.

— Молитва у них, что ли такая... Моление солнцу! Он делает что-то руками, воздушное умывание у лица.

— И... свистят... тонко... Там свистнул, тут свистнет... позади, там, здесь... (уж не слова у него, а движения): повел плечами — и нет спинки стула, ухо — туда, сюда, слушает... миг тишины совершенной... Степь!

Взлет руки вверх: — Понимаете ли? Хорошо, черт их совсем побери...

— Да, а сусликов ловит лунь. Лунь висит, как подвешенный, в воздухе и качается. — Горький вскинул голову, простер в стороны руки и длинно, медленно качает их. Лицо — напряженной важности, очертания плеч — воздушны, строги, легки...

В то мгновенье, когда Горький описал, как ударяет лунь суслика, у него совершенно серьезное — чуть сжатые черты — лицо. Но когда уже суслик мертв и в степи живет трепетной жизнью победы лунь, Горький, сам, конечно, не зная, рассказывает его наедине с пищей, так как — тихо — оно и было там, в степи, должно быть. Не руша на бедного хищника его грех. Чертя еле зримый чертеж, гравер тающих линий, он говорит почти восхищенно о том, как деловито, — и в деловитости невинно, — как аккуратно выедаёт лунь клювом из мертвого черепа мозг. Нам ощутимо слышен этот, после суслика, позднейший степной час, — вот так, в два часа дня, в Сорренто.

Олени. — Ночью шли на водопой. И самец кричал. Крик (разноголосо охнул, руки в воздух, и крик, как оленье рога). Олень стучал по деревьям, давая знать задним, что опасности [236] нет. Потом самка, самец и их теленок остановились, и теленок стал объедать ветку, а отец и мать сторожили.

— Замечательно...

Он только одно слово сказал, туша им улыбку, но улыбка потушила его.

Да, он подолгу жил в степи, раз не мог уйти от сусликов. — Дня четыре вот так (вызывающе и смущенно) гулял!

— Когда в Феодосии на стройке железной дороги, — это было в 90-х годах, на виноградниках работал... Это что, работа дешевая, а вот мостили шоссе это да: 45 коп! Сколько часов? Да сколько хотите! Часов в 9 начнешь — обед свой — и так до часов 9 вечера... а кругом народу сколько хочешь, ждут, когда кто-нибудь упадет или заболит, смотрят сверху, бегут радостно! (Показал, как хватаются за кирку, как потирают руки...).

Он никогда не снизойдет морализировать. Дышит и с луном, и с сусликом. И в юности никого не учил. А только молча, порой, когда этого требовала минута, пускал в ход исступленные кулаки (за разбитую на его глазах ночным сторожем об камень кошку). Четко, за описанием брызнувшей крови:

— Ну что было делать? Мы катались, как два пса, по двору... (В людях).

=====

Ночь. Давно смолкла внизу музыка. Дом спит.

Запер дверь на террасу и пошел нас проводить на лестницу. Последняя ночь в Сорренто!

У дверей Минервы в черной ночи с желтыми звездами, рассыпанными по мысу Сорренто, мы еще долго говорили о нем.

— Ну, что, — сказал мне мой друг, — видите, я был прав... А вы говорили — сухой, холодный... и насколько он больше Толстого! Разве можно сравнивать! Это — музыка, а не человек...

## Глава последняя

Прощайте Сорренто, Капри, Каstellамаре, Торре дель Греко, Помпея, где были вчера, — едем?

Лиловое небо. Везувий, из Сорренто видимый в этой лиловости только порой и туманно, оживает тяжелой горой. [237] Наступает на нас. Мы летим ему под ноги. На нем широкие пласты солнца. В его складках что-то от слона. Небо жжет жарче. Когда это солнце сядет, я буду опять мчаться. И Везувий снова станет туманом...

Вчера друг Горького, художник (простились, остался в Сорренто) мне рассказал о том, что, если ехать вдоль берегов, можно, порой, при очень тихом море увидеть под водой мраморные лестницы, колонны, целые куски древних жилищ. Здесь были бани такого-то императора, там — знаменитая вилла... Землетрясения необычайно изменяют берег. Здесь, говорят, некогда был кратер; вон та цепь островов — его противоположный край. Все, что сейчас (до островов) вода — было огнем вулкана?..

Время от времени море выкидывает остатки былой культуры: статуи, амфоры. Их порой расшибает о скалы, но случается, что дар моря кинут волной на отлогом месте, — тогда люди собираются вокруг сокровища, мокрого и немного, тысячелетия пробывшего под водой. Так героическими раскопками Помпеи и Геркуланума из окаменевшего огня и беспечной прихотью волн пополняются залы музея в Неаполе. Горький не может говорить спокойно об этих музеях. Ради них, ради радости показать их еще раз, он нарушил ход своих рабочих дней, он едет с нами показать нам Неаполь.

=====

Стройная, легкая, повторяю, юношеская фигура Горького в черном и в черной шляпе — на фоне стен картинной галереи. За огромным окном — жара. Прохладные анфилады скульптурных зал.

В ответ на мой вопрос о последовательности в его отношении искусств (впрочем, с оговоркой, что вообще такое деление искусственно): 1) музыка, 2) слово, 3) живопись, 4) скульптура.

Канова<sup>35</sup> — изумительный скульптор. Великолепен памятник Колеона Вероккио<sup>36</sup>. Роден<sup>37</sup> — гениален (Мыслитель, Граждане Кале). Коненков<sup>38</sup> замечателен.

— Голубкина<sup>39</sup> — талант крупный. Женщина — бессребреница, но — да это всегда было — говорила в лицо неприятности. И всегда было у нее хорошее самоуважение. А ее старуха голая — такая безобразная, что, ну, прямо некуда ее поставить. Так и осталась у нее в мастерской. [238]

Смотрим любимые его вещи: Геркулес, держащий яблоко, и недавно выкинутая морем у чьей-то виллы статуя юной женщины изумительной работы (и все воспетые чудеса Неаполитанского музея). Мы осматриваем их залу за залой, этаж за этажом. Фрески Помпеи, макеты помпейских домов; гипсовые отливки в судорогах застывших тел. Худенькое, скорченное тельце двухтысячелетней собаки: ее остренькая мордочка задыхается, как в те дни, хотя сам скелет давно рассыпался в прах. (Секрет Фиорелли, попробовавшего наливать гипсом встречавшиеся под киркой пустоты.) А над гипсовым оттиском предсмертных страданий, на непотускневшей кирпичного цвета фреске летит — легчайшим движением — некая, быть может, Фортуна. Сыпля цветы. Прозрачный край ее покрывала четок, вынутый из-под пепла, и серебрян, как стрекозиное крыло.

Горький молчит. Это — еще раз — все тот же его миг, миг, когда отводишь глаза, когда не даешь слезам завладеть глазами и горлом.

Выходя из прохлады музея в горячую печь двора, помню сказал:  
— Синьорелли<sup>40</sup> я ставлю очень высоко.

=====

Ко мне подошла женщина. Тихо по-русски:

— Скажите, это не Горький?

— Это Горький.

И не сказала ему, чтобы не портить ему дня. Он так любит музей и так не любит быть замеченным.

Пошли в Аквариум (музей подводной жизни). Чудеса моря медленно плыли, сияя, как чудовищные огни. Одно даже сияло.

Покормили кого-то из них.

Знаток Горький, любовно поясняя, показывает нам пушистость живых тычинок, пухлые масляные стволы, кораллообразные ветви, и на дне — жемчужную тишину.

— Можно ли словами описать это, думаю я, можно ли найти название для каждого из этих явлений, для всех разновидностей? Передать. Нет, нельзя: потому что сквозь все это — вода...

— Нет, не вода, а жизнь! Это я поняла спустя полчаса, когда мы попали во второе отделение музея подводной жизни:

здесь были те же чудеса, — но неподвижные. Текучесть в [239] лице спирта или других растворов тоже пронизала каждый гриб и стебель. Цвета чудовищных рыб были все так же сумасшедше красивы. Но ничто не колыхалось, не плыло, стеклянный стебель был холоден, и мутный глаз не смотрел на нас, пробуждаясь из толщи сна.

=====

Сидим в ресторанчике тетки Терезы, у самой воды. Мой последний час. Рыбачьи лодки. Остро пахнет морем. Зеркальная, пылающая гладь гаснет вдали от неба.

— Нет, у меня нет привязанности к одному месту. Уж не тянет меня ни в Тифлис, ни в Царицын, ни в Нижний. На Украине жил — был украинцем. Приехал в 1906 г. на Капри, так понравилось, что остался.

Горькому подали осьминога. Нам — макароны. Пили Лакрима Кристи<sup>41</sup>. Три музыканта гремели свою струнную красу. Горький говорил, что любит это место на Санта-Лючия, потому что тут собираются самые разные люди, тут по-настоящему демократично. И мальчишки — понимаете ли, такие хо`ро`шие мальчишки. Настоящие.

Рассказ о том, как однажды в распоряжении городского совета в Неаполе осталось несколько тысяч франков — собрались, чтобы решить, на что употребить деньги: основать школу или сделать грандиозную иллюминацию.

Большинством голосов прошла иллюминация.

Он говорит о том, как итальянцы любят оригинальное в человеке, окружают и смотрят.

— Хорошо, знаете, так смотрят.

О том, как ведут себя немцы, когда кто-нибудь не таков, как они. Плохо одет, например: они просто не видят: идет на человека, никого перед ним нет. Как один его знакомый в Париже стал резать спаржу, которую принято не резать (французы — молодцы!), несмотря на то, что они держатся этих правил приличия, музыканты только на миг приостановили музыку, лакей отвернулся, взглянул в окно, и все сделали вид, что другим заняты.

Торговец поднес книги. Горький купил том Пушкина. Другой, с мелочами, предложил моему другу крошечную черепаховую мандалину.

— А она играет? [240]

— Сейчас — нет, — сказал Горький, — когда подрастет. Что-то нынче Везувий сильно дымится. Вечером, наверное, будет окрашен огнем.

=====

Легкая, высокая, с впалой грудью и прямыми плечами фигура в черном костюме (непривычно): дома ходит в английской рубашке за пояс, в русской его не видала, и в широкополой черной шляпе, эта сухонькая, угловатая и в угловатости грациозная фигура на фоне бледного, подавляющего здесь все Визувия, на фоне раскаленного неба, помпейских музейных зал, зеркальной набережной Санта-Лючия, — стоит предо мною теперь точно так, как когда-то стояла в детстве, в этой же широкополой шляпе, на фоне московского осеннего окна, в день расправы со студентами.

Этот день никогда не забуду и не могу его описать.

=====

Сто`лбцы. Игрушечно-чинный вокзал, маленькие пограничные станции. Это последний кусочек Запада. Последние его атрибуты в виде узора иностранных газет: польских, французских, немецких, блистающие стопочки швейцарского шоколада... дорожные зеркальца, стаканчики, карнэ, чудо-карандаши, виды Уяздовской аллеи...

Таможенный осмотр кончен. Чиновники с блестящими пуговицами, в каскетках совершили свой долг. В Варшаве у билетной кассы я получила удивленный отказ: билет до Москвы? Билет выдается только до Сто`лбцов, от Сто`лбцев берешь билет до Негорелого, в Негорелом уже в русской кассе получаешь билет до Москвы.

Глухой гул. Поезд. Носильщик берет вещи.

Был ветер, хлестал дождь, когда поезд с несколькими пассажирами замедлил ход у последней польской сторожки. В поле было темно. Здесь сошли все польские железнодорожные служащие, кроме машиниста и кондуктора. Они доезжают до самых границ легендарного ада, они обжигаются об его ворота. Таков долг службы.

Эти последние минуты я еще во власти Запада. Еще мой паспорт иностранен. Еще я — пани (Должно быть, совсем безумная, в эту страшную неведомую страну!) В молчании со мной кондуктора — что-то стеклянное. Стоя у окна, я стараюсь за его плечом различить, что за окном. Слева замигали огни. Негорелое. [241]

**1930**

### **КОММЕНТАРИИ**

Публикуемый текст воспроизводит то, что было напечатано в 1930 г. в журнале Новый мир No 8-9. Он был положен в основу позднейшей публикации в книге Воспоминаний под названием Поездка к Горькому. Минимальные изменения касаются допущенных тогда случайных ошибок. Слова Сергей Ценский теперь исправлены на Сергеев-Ценский, название В степи — Степь и др. Фамилия автора публикаций в Новом мире — А. Мейн. Это — псевдоним А. И. Цветаевой: девичья фамилия ее матери Марии Александровны Цветаевой.

*[Разметка пагинации дана в квадратных скобках. Номера страниц соответствуют окончанию страницы.]*

*Комментарии Ю. М. Каган.]*

\* \* \*

1. Екатерина Павловна Пешкова (урожденная Волжина, 1876-1965) — общественная деятельница, литератор; первая жена Максима Горького, мать его сына Макса и дочери Кати. Вела очень важную работу в Политическом Красном Кресте. Сестры Цветаевы относились к ней с обожанием с детских лет, когда во время смертельной болезни своей матери они жили в Ялте. Через много лет, в 1927 г., Екатерина Павловна по просьбе Горького помогала А. И. Цветаевой поехать к нему в гости в Италию. Е. П. Пешковой посвящено стихотворение М. Цветаевой «У гробика».

2. «Дикая утка» и «Чайка» — пьесы Г. Ибсена и А. Чехова, шедшие в Московском Художественном театре. «Дикая утка» в 1901 г., «Чайка» — с громадным успехом в сезон 1898-1899 гг.

3. Скиталец Степан Гаврилович (настоящая фамилия — Петров, 1869-1941) писатель, друг Л. Андреева.

4. Андреев Леонид Николаевич (1871-1919) — писатель. Известно, что он



плохо отзывался о книге А. И. Цветаевой «Дым, дым и дым...». М. Цветаева считала Л. Андреева сплошь мозговым.

5. «Потонувший колокол» — драма в стихах немецкого писателя Герхарта Гауптмана (1862-1946).

6. Суд над Сакко и Ванцетти — участники рабочего движения Н. Сакко и Б. Ванцетти были казнены в 1920 г. на основании недоказанного обвинения в убийстве. Эта казнь вызвала протест во всем мире.

7. Бабель Исаак Эммануилович (1894-1941) — русский писатель; был арестован и расстрелян.

8. Форш Ольга Дмитриевна (1873-1961) — русская писательница.

9. Сергеев-Ценский (Сергеев Сергей Николаевич, 1875-1958) — русский писатель.

10. Пастернак Борис Леонидович (1890-1960) — русский поэт и писатель. Лауреат Нобелевской премии 1958 г. Многолетний близкий друг сестер Цветаевых. Поэма «Высокая болезнь» была посвящена Анастасии Цветаевой. Когда она была репрессирована, Пастернак посылал ей письма и деньги. На «Воспоминания» отозвался восторженно.

11. Садовской Борис Викторович (1881-1952) — поэт и прозаик. В 1941 г. перед отъездом из Москвы в эвакуацию Марина Цветаева оставила Б. Садовскому свои книги, которые не сохранились. Больной, парализованный, полунищий, он, по-видимому, вынужден был их продавать.

12. Фет Афанасий Афанасьевич (1820-1892) — поэт. Обозначение возраста указывает здесь не точное число лет, а старость.

13. Апухтин Алексей Николаевич (1840-1893) — поэт.

14. Лесков Николай Семенович (1831-1895) — писатель.

15. Соловьев Владимир Сергеевич (1853-1900) — философ, поэт, публицист, критик.

16. Шлейермахер Фридрих Даниэль Эрнст (1768-1834) — немецкий философ, богослов и общественный деятель. Его учение во многом было близко к учению Спинозы. В. Соловьев отрицал влияние на него Шлейермахера.

17. Шмидт Анна Николаевна (1851/53-1905) — создала мистическую систему, в соответствии с которой считала себя Софией-Премудростью Божией, а В. С. Соловьева — Христом и своим женихом. Полагают, что в издании книги из рукописей Л. Н. Шмидт с письмами к ней В. С. Соловьева (М. 1916) принимали участие С. Н. Булгаков и П. А. Флоренский.

18. Боткин Василий Петрович (1812-1869) — писатель, критик, искусствовед. Письма из Испании — (1847-1847).

19. Слепцов Василий Алексеевич (1836-1878) — русский писатель.

20. В той части воспоминаний, которая посвящена Горькому, после суждений о Гете и Ломоносове, Пушкине и Гете идет его рассуждение о стихах Марины Цветаевой. В публикуемом здесь тексте 1930 г. А. И. Цветаева это рассуждение опускает. М. И. Цветаева жила в эмиграции — ее имя в СССР не разрешалось упоминать в печати. Это же касается упоминаний друга, с которым А. И. Цветаева была у Горького в Сорренто. Это весьма примечательный человек и поэт, репрессированный и расстрелянный потом Борис Михайлович Зубакин (1894-1938), оказавший большое влияние на А. И. Цветаеву. В 4-ом издании своих Воспоминаний после реабилитации Б. М. Зубакина А. И. Цветаева называет его имя полностью.

21. Франс Анатоль (Анатоль Франсуа Тибо) (1844-1924) — французский писатель.

22. Баллада о Редингской тюрьме (1898) — произведение английского писателя Оскара Уайлда (1854-1900).

23. Йеста Берлинг Лагерлеф — речь идет о романе «Сага о Йесте Берлинге» (1891) шведской писательницы Сельмы Оттилии Лувисы Лагерлеф (1858-1940). Этот роман — одна из любимейших книг М. Цветаевой.

24. Шоу Джордж Бернад (1856-1950) — английский драматург и общественный деятель.

25. Тимоша — домашнее имя снохи Горького Пешковой Надежды Алексеевны (1901-1971).

26. Своего приемного сына — Пешков Зиновий Алексеевич (Зиновий Михайлович Свердлов, 1884-1966) был не усыновлен, а крещен Горьким (принятие православия требовалось для поступления в филармоническое училище).

27. Купер Джеймс Фенимор (1789-1851) — американский писатель.

28. Рид Томас Манн (1818-1883) — английский писатель, автор авантюрно-приключенческих романов.

29. Куприн Александр Иванович (1870-1938) — русский писатель.

30. Скриттури — писатели (итал.)

31. Тиберий (42 г. до н.э. — 37 н.э.) — римский император.

32. Шагал Марк (1887-1985) — французский художник родом из России (Витебск).

33. Андреев-Бурлак Василий Николаевич (1843-1888) — мастер художественного чтения, один из организаторов Первого товарищества русских актеров (1883).

34. Стрельская Варвара Васильевна (1838-1915) — актриса. С 1857 г. играла в Александрійском театре.

35. Канова Антонио (1757-1822) — итальянский скульптор.

36. Вероккио (Верроккьо) Андреа (1435/35-1488) — итальянский скульптор. Памятник кондотьеру Коллеони в Венеции.
37. Роден Огюст (1840-1917) — французский скульптор.
38. Коненков Сергей Тимофеевич (1874-1971) — скульптор.
39. Голубкина Анна Семеновна (1864-1927) — скульптор.
40. Синьорелли Лука (1445/50-1523) — итальянский живописец. Отличался изображением резких, порывистых движений.
41. Лакрима Кристи — название вина «Слеза Христова». (лат.)
- \* Дом, где живет великий писатель Максим Горький (итал.).
- \*\* Сидел (нем.).

*За участливое отношение к моей работе приношу глубокую благодарность Г. И. Медзмариашвили и Л. Н. Родовой.*

***Ю. М. Казан***